

Алессандро Барикко

# Замки Гнева



Алессандро Барикко — царь Мидас  
итальянской романистики.

*La Stampa*

Алессандро Барикко

**Замки гнева**

«Азбука-Аттикус»

1991

## **Барикко А.**

Замки гнева / А. Барикко — «Азбука-Аттикус», 1991

«Замки гнева» – первый роман Алессандро Барикко, с него началась история литературного успеха этого удивительного писателя. Из «Замков гнева» прорастают такие его вершинные произведения, как «Шелк», «Море-океан», «1900-й. Легенда о пианисте» и др. Перед нами – метароман и в то же время поэма о любви. Здесь море удивительных персонажей: никогда не бывшая замужем вдова, мальчик «с синкопированным восприятием жизни», член британского парламента, первая в мире жертва железнодорожной аварии. Единственное, что объединяет эксцентричных изобретателей, авантюристов, безумного архитектора, композитора-протоавангардиста и всех прочих, это то, что «в том, что они делали, и в том, чем они были, было нечто, так сказать, прекрасное», как замечает Барикко.

© Барикко А., 1991

© Азбука-Аттикус, 1991

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 6  |
| 1                                 | 6  |
| 2                                 | 14 |
| Часть вторая                      | 25 |
| 1                                 | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

# Алессандро Барикко

## Замки гнева

*Карине, из моего далека*

*Und wir, die an steigendes Glück...*

*И мы, о ввысь уносящемся счастье...<sup>1</sup>*

Алессандро Барикко в Италии – звезда, и хотя вокруг его имени ходят легенды, как вокруг известных рок-певцов, все же он остается писателем, одним из тех, которых ждут десятилетия.

*Франсуаза Брэн*

Он писатель нового поколения, со своей собственной философией и неповторимой эстетикой, пребывающий в беспрестанном поиске того неуловимого, что можно выразить только музыкой или поэзией.

*Евгения Дегтярь*

## Часть первая

### 1

- Эй, там – что, нет никого?.. БРЭТ... что за черт, оглохли они там, что ли?.. БРЭТ!
- Не ори так, тебе это вредно, Гарольд.
- Куда ты запропастился, черт тебя дери... Я уже битый час здесь стою и...
- Твоя колымага совсем развалилась, Гарольд, не надо бы тебе так быстро ездить...
- Да наплевать на нее, возьми-ка лучше это...
- Что это?
- Да я сам не знаю, Брэт... откуда мне знать... это посылка. Посылка для миссис Райл...
- Для миссис Райл?
- Она пришла вчера вечером... и вид у нее такой, будто бы пришла она издалека...
- Посылка для миссис Райл...
- Слушай, возьми ее быстрее, Брэт, мне нужно вернуться в Квиннипак до полудня...
- О'кей, Гарольд.
- Лично миссис Райл, ты понял?
- Лично миссис Райл.
- Отлично... и не валяй дурака, Брэт... появляйся хоть иногда в городе, ты же просто сгниешь в этой дыре...
- Колымага у тебя жуткая, Гарольд...
- Скоро увидимся, о'кей?.. Но, пошла, давай!.. Увидимся, Брэт!
- Не гони ты так на этой колымаге, ЭЙ, ГАРОЛЬД, НЕ ГОНИ ТАК... Не стоит тебе так гнать на этой развалюхе. Когда колымага такая никчемная...
- Мистер Брэт...
- ...и разваливается от одного только взгляда...
- Мистер Брэт, я ее нашел... я нашел веревку...
- Молодец, Пит, положи ее туда, положи в повозку...
- ...она лежала прямо в зерне, ее не было видно...
- Хорошо, Пит, а теперь иди-ка сюда... положи пока эту веревку и иди сюда, мой мальчик... мне нужно, чтобы ты быстро сбежал в город и обратно, понял?.. Вот, возьми этот пакет. Беги, разыщи Мэгг и отдай ей. И послушай... Скажи ей, что это посылка для миссис Райл, о'кей? Скажи ей: это посылка для миссис Райл, она пришла вчера вечером и выглядит она так, будто пришла издалека. Ты хорошо понял?
- Да.
- Это посылка для миссис Райл...
- ...она пришла вчера вечером, и... она из...
- ...выглядит она так, будто пришла издалека, вот как ты должен сказать...
- ...издалека, о'кей.
- Ну хорошо, беги... и все время повторяй это, пока бежишь, тогда ты не забудешь... ну давай, мой мальчик...
- Да, мистер...
- Повторяй все вслух, это очень помогает.
- Да, мистер... Это посылка для миссис Райл, она пришла вчера вечером, и... она пришла вчера вечером, и она выглядит...
- БЕГИ ЖЕ, ПИТ, Я СКАЗАЛ – БЕГИ!

– ...будто бы пришла она издалека, это посылка для миссис Райл, она пришла вчера вечером, и она выглядит... как будто она пришла издалека... это посылка для... миссис Райл... для миссис Райл, она пришла вчера вечером... и она выглядит... она выглядит, как будто она издале... далека... это посылка... это посылка для миссис... она пришла... издале... нет, она пришла вчера... она пришла... вчера...

– Эй, Пит, что за дьявол тебя укусил? Куда ты так несешься?

– Привет, Энди... она пришла вчера... я ищу Мэгг, ты ее не видел?

– Она там, на кухне.

– Спасибо, Энди... это посылка для миссис Райл... она пришла вчера... и она выглядит... она выглядит, как будто она пришла издалека... издале... дале... это посылка... Добрый день, мистер Гарп!.. для миссис Райл... она пришла вчера... и она... она пришла вчера, и она... это посылка, это посылка для миссис... миссис Райл... и она выглядит, будто она пришла... Мэгг!

– Малыш, что случилось?

– Мэгг, Мэгг, Мэгг...

– Что это у тебя в руках, Пит?

– Это посылка... это посылка для миссис Райл...

– Покажи-ка...

– Подожди, это посылка для миссис Райл, она пришла вчера вечером и...

– Ну, Пит...

– ...она пришла вчера и...

– ...она пришла вчера...

– ...она пришла вчера, и она выглядит издалека, вот.

– Выглядит издалека?!

– Да.

– Дай я посмотрю, Пит... выглядит издалека... на ней полно надписей, видишь?... и, думаю, я знаю, откуда она... Смотри, Ститт, пришла посылка для миссис Райл...

– Посылка? Тяжелая?

– Она выглядит издалека.

– Дай-ка, Пит... она легкая... легкая... что скажешь, Ститт, она похожа на подарок?

– Кто его знает, может быть, там деньги... а может быть, это просто шутка...

– Ты знаешь, где госпожа?

– Она только что пошла в свою комнату...

– Слушай, ты оставайся здесь, а я поднимусь на минутку...

– Можно, я тоже пойду, Мэгг?

– Ладно, Пит, только давай быстрее... я сейчас вернусь, Ститт...

– Это просто шутка, думаю, это просто шутка...

– Правда, это не шутка, Мэгг?

– Кто его знает, Пит.

– Ты все знаешь, только не хочешь сказать, да?

– Может быть, я и знаю, но тебе-то точно не скажу... давай закрой дверь...

– Я никому не скажу, клянусь, никому...

– Пит, будь умницей... потом и ты все узнаешь, вот увидишь... и, может быть, скоро будет праздник...

– Праздник?

– Ну, что-то в этом роде... если здесь внутри то, что я думаю, завтра будет необыкновенный день... или, может быть, послезавтра, или через несколько дней... но такой день будет...

– Необыкновенный день? Почему необычно...

– Тсс! Стой здесь, Пит. Стой на месте, хорошо?

– Ладно.

– Стой на месте... Миссис Райл... извините, миссис Райл...

И тогда, только тогда Джун Райл подняла голову от письменного стола и обернулась к закрытой двери.

Джун Райл. Лицо Джун Райл. Когда женщины Квиннипака смотрели на себя в зеркало, они думали о лице Джун Райл. Когда мужчины Квиннипака смотрели на своих женщин, они думали о лице Джун Райл. Волосы, скулы, белоснежная кожа, изгиб бровей Джун Райл. Но самыми удивительными – смеялась ли она, кричала ли, молчала ли или просто сидела, как бы в ожидании чего-то, – были губы Джун Райл. Губы Джун Райл завораживали... Они просто будоражили фантазию. Они раскрашивали ваши мысли в яркие цвета. «Однажды Бог создал губы Джун Райл. И именно тогда Ему на ум внезапно пришла мысль о грехе». Так это рассказывал Тиктель, который разбирался в богословии, так как когда-то был поваром в семинарии, – как, по крайней мере, говорил он сам, или в тюрьме, как говорили другие, – глупцы, – так он их называл. Никто никогда не смог бы описать его, говорили все. Лицо Джун Райл, разумеется. О нем грезил каждый. И вот теперь оно здесь, именно здесь, – и оно, еще минуту назад склонявшееся над столом, уже обращено к закрытой двери, – и губы Джун Райл произносят:

– Я здесь.

– Вам посылка, миссис.

– Входи, Мэгг.

– Здесь посылка... для вас.

– Покажи.

Джун Райл поднялась, взяла пакет, прочитала имя, написанное чернилами на коричневой бумаге, посмотрела с другой стороны, подняла глаза вверх, на минуту закрыла их, снова открыла, опять осмотрела пакет, взяла со стола нож для бумаги, разрешила шпагат, развернула коричневую обертку – под ней оказалась белая.

Мэгг сделала шаг к двери.

– Останься, Мэгг.

Она развернула белую бумагу, под которой показалась розовая, в нее была завернута сиреневая коробочка, в которой Джун Райл обнаружила другую, обтянутую зеленой тканью.

Она открыла эту коробочку. Заглянула в нее. Ее лицо ничего не выразило. Потом она ее закрыла. Затем, повернувшись к Мэгг, улыбнулась ей и сказала:

– Мистер Райл возвращается.

Вот так.

И тогда Мэгг побежала вниз вместе с Питом, повторяя: «Мистер Райл возвращается», и Ститт произнес: «Мистер Райл возвращается», и по всем комнатам пронесся шепот: «Мистер Райл возвращается», и кто-то крикнул в открытое окно: «Мистер Райл возвращается!» – и вот уже над полями пронеслось: «Мистер Райл возвращается», и это известие донеслось до реки, у которой раздалось: «Мистер Райл возвращается». И раздалось так громко, что и на стекольном заводе кто-то услышал и, повернувшись к соседу, шепнул: «Мистер Райл возвращается», и весть эта донеслась до каждого, несмотря на шум печей, из-за которого приходилось повышать голос, чтобы тебя услышали; «что ты сказал?» – «мистер Райл возвращается», и голос этот становился все громче и громче и наконец стал таким громким, что о том, что случилось, узнал самый последний, самый глухой рабочий, вздрогнув, как от выстрела у самого уха, от слов: «Мистер Райл возвращается», – одним словом, это было подобно взрыву, эхо от которого поднялось высоко в небо, отдалось в ушах и в сознании, и даже в Квиннипаке, который был оттуда в часе езды, даже в Квиннипаке спустя совсем немного времени жители увидели, как на всем скаку в город въехал Олливи, скатился кубарем с коня, растянулся на земле, проклиная Небо и Мадонну, и, подняв с земли свою шляпу и с задницей, запачканной грязью, произнес – тихим голосом, как будто бы новость при его падении лопнула, сдулась и истерлась в порошок, – он пробормотал как бы про себя:

– Мистер Райл возвращается.

Время от времени мистер Райл возвращался. Как правило, это случалось спустя некоторое время после того, как он уезжал. Что свидетельствует о внутренней, психологической и, можно сказать, моральной дисциплине этого человека. По-своему мистер Райл любил точность.

Гораздо труднее было понять, почему он время от времени уезжал. Никогда не было настоящего удовлетворительного объяснения – почему он это делал, это не зависело ни от времени года, ни от конкретного дня, ни от какой-либо причины. Он просто уезжал. Приготовления – серьезные и незначительные – занимали у него несколько дней: экипажи, письма, багаж, шляпы, походный письменный прибор, деньги, документы – все это он упаковывал и распаковывал, как всегда улыбаясь, с кропотливым и беспорядочным проворством запутавшегося насекомого, вовлеченный в своего рода домашний ритуал, и этот ритуал мог бы длиться вечно, если бы в конце концов не заканчивался одной и той же заранее известной церемонией – церемонией краткой, едва примечательной и чрезвычайно тонкой: он выключал свет, и они с Джун лежали молча в постели, в полной темноте, рядом друг с другом, в нерешительности; она переживала несколько мгновений, потом закрывала глаза и, вместо того чтобы сказать:

– Спокойной ночи, —

спрашивала:

– Когда ты уезжаешь?

– Завтра, Джун.

И на завтра он уезжал.

Куда он ехал, никто не знал. Даже Джун. Кое-кто утверждал, что он и сам хорошо этого не знает, и в доказательство приводили то знаменитое лето, когда утром седьмого августа он уехал и вернулся на следующий вечер с семьей нераспакованными чемоданами и с самым невозмутимым лицом. Джун его ни о чем не спросила. Он ничего не объяснил. Слуги распаковали чемоданы. После этой маленькой заминки жизнь пошла своим чередом.

А иногда, как говорили, он мог уехать на несколько месяцев. Это несколько не меняло его укоренившихся привычек: он не присылал ни малейшей весточки о себе. Он буквально исчезал. Ни письма, ничего. Джун к этому привыкла и не тратила времени на напрасное ожидание.

Слуги, которые, в общем-то, любили мистера Райла, думали, что он уезжает по делам.

– Это стекольный завод заставляет его уезжать так далеко.

Так говорили. Куда это – *так далеко* – оставалось весьма неопределенным, но, по крайней мере, это было хоть каким-то объяснением. И доля истины в этом была.

В самом деле, иногда, когда мистер Райл возвращался, в чемодане у него были удивительные и многообещающие договоры: на 1500 стаканов в форме башмака (так они и остались стоять непроданными в витринах половины Европы), на 820 квадратных метров цветного стекла (семь цветов) для новых витражей собора Сен-Джуст, на сосуд диаметром 80 сантиметров для садов Каза-Реале и тому подобное. И совсем уж невозможно забыть одно из его возвращений, когда мистер Райл, даже не стряхнув с себя дорожную пыль и ни с кем не поздоровавшись, побежал через поля к заводу, с порога устремился к камерке Андерсона и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

– Слушай меня, Андерсон... если бы нам нужно было изготовить лист стекла, но лист очень большой, понимаешь? Очень большой... самый большой... и, главное, тонкий... как ты думаешь, насколько большим мы смогли бы его сделать?

Старый Андерсон сидел над счетами и квитанциями. В них он не понимал абсолютно ничего. Он, совершенный гений во всем, что касалось стекла, совсем не разбирался в счетах. Он блуждал по цифрам изумленным взглядом. И поэтому, едва услышав о стекле, он, как рыба, попавшаяся на крючок, позволил вытащить себя из этого моря – моря цифр, бездны счетов.

– Ну, может быть, метр, лист метр на тридцать, как мы тогда делали для Денбери...

– Нет, Андерсон, больше, гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить...

– Больше?.. Ну, если бы можно было попробовать раз-другой, а потом сделать штук десять пробных, может быть, в конце концов нам и удалось бы получить действительно один большой лист, может быть, с два метра... может быть, даже и больше – скажем, два метра на метр, прямоугольник из стекла длиной два метра...

Мистер Райл обошел его и встал за спинкой его стула:

– Знаешь что, Андерсон? Я нашел способ сделать его в три раза больше.

– В три раза больше?

– В три раза.

– А что мы будем делать с листом стекла в три раза больше?

Вот что он спросил его, этот старик: что мы будем делать, спросил он его, с листом стекла в три раза больше?

А мистер Райл ответил:

– Деньги, Андерсон. Мы будем грести их лопатой.

В действительности, если говорить начистоту, способ, который мистер Райл нашел невесте в каком уголке света, вбил себе в голову и запечатлел в своей фантазии, чтобы потом рассказать о нем Андерсону, прямо глядя в его прозрачные глаза, был столь же гениален, сколь и безнадежен. Андерсон же был гением в изготовлении стекла – и был таковым уже бесчисленное число лет, а до него – его отец, а до его отца – отец его отца, который первым в семье послал к дьяволу своего собственного отца-крестьянина и его ремесло, чтобы разобраться наконец, какой это нечистой силой обрабатывается столь бездушный, но волшебный камень – без прошлого, без цвета и без имени, который все называют *стеклом*. В общем, он был гением, он был им всегда. И он начал думать. Поскольку действительно, должно быть, существовал некий способ изготовления стекла в три раза больше. И это, собственно говоря, и было самым гениальным в способе мистера Райла: он всегда интуитивно знал, что можно сделать нечто, прежде чем кому-нибудь приходило в голову, для чего это может понадобиться. И вот он бился над этим, Андерсон, – дни, недели и месяцы. И в конце концов разработал способ, который позже стал известен под именем «Патент Андерсона со стекольного завода Райла», вызвавший благоприятные отзывы в местной печати и широкий интерес у многих мыслящих людей в разных частях света. Но гораздо важнее то, что «Патент Андерсона со стекольного завода Райла» с этой минуты на несколько лет изменил жизнь мистера Райла, оставив, как мы увидим, определенный след в его истории. Истории необычной, которая, без сомнения, так или иначе шла бы своим ходом и в конце концов привела бы его к тому, что и было написано у него на роду, но все же тем не менее ей было угодно, чтобы поворотным моментом в ней явился именно «Патент Андерсона со стекольного завода Райла». Такова судьба: она могла бы плести нить нашей жизни тихо и незаметно, а вместо этого она поджигает на своем пути, там и тут, отдельные мгновения, выбирая их из тысячи других мгновений нашей жизни. Ночью, когда вы предаетесь воспоминаниям, они горят ярким светом, отмечая вехами ход вашей судьбы. Эти одинокие огни горят так ярко, что иногда высвечивают хоть какие-то причины происшедшего в вашей жизни.

К примеру, в свете «Патента Андерсона со стекольного завода Райла» и того, что за ним последовало, становится ясно, почему столь естественными казались слухи о том, что поездки мистера Райла были главным образом деловыми. И все же...

И все же невозможно было не заметить очевидного: существовали мириады мелких фактов, деталей и явных совпадений, проливающих определенный свет на те непостижимые и неоспоримые явления, которыми были поездки мистера Райла. Мириады мелких фактов, деталей и явных совпадений, о которых даже не стоило бы упоминать, потому что они, словно тысяча мелких ручейков, впадающих в большое озеро, вылились однажды в чистую правду.

Это случилось в один январский день, когда мистер Райл вернулся из очередной поездки, и был он не один – он явился с Морми. Глядя Джун в глаза, он сказал ей очень просто, – положив руку на плечо мальчугана, – он ей сказал, – а мальчонка между тем не отрываясь смотрел на прекрасное лицо Джун, – так вот, он сказал:

– Это Морми, и он мой сын.

Над ними нависало сумрачное январское небо. Вокруг – горстка слуг. Все невольно опустили глаза. Все, кроме Джун. Она смотрела на блестящую кожу мальчика – кожу цвета песка, кожу, обожженную солнцем, но обожженную раз навсегда – тысячу лет назад. И первой ее мыслью было:

«Та шлюха была черной».

Она видела ее, эту женщину, которая в какой-то далекой стране сжимала ногами мистера Райла, кто знает, – может быть, это было ее ремесло, а может, она делала это из удовольствия, скорее всего – ремесло. Она смотрела на мальчишку: на его глаза, его губы, белые зубы – и видела ее все отчетливее – настолько отчетливо, что вторая пронзившая ее мысль была:

«Та шлюха была красоткой».

Обе эти мысли пронеслись в ее голове за одно лишь мгновение. И на одно лишь мгновение эта крошечная человеческая вселенная, отрезанная от остальной галактики, сконцентрировавшаяся на себе самой и явно переживавшая драму, – на одно лишь мгновение эта крошечная человеческая вселенная погрузилась в молчание. А затем неожиданно, среди всеобщего замешательства, раздался ее голос, и его услышали все:

– Привет, Морми. Меня зовут Джун, и я не твоя мать. И никогда ею не буду.

Правда, сказано это было мягким голосом. Это могут подтвердить все. Она сказала это мягким голосом. Она могла бы сказать это с бесконечной злобой, и все же она произнесла эти слова мягко. Нужно было слышать, каким мягким голосом это было сказано: «Привет, Морми. Меня зовут Джун, и я не твоя мать. И никогда ею не буду».

В тот вечер пошел дождь, и это было похоже на наказание. Он хлестал всю ночь с необычайной свирепостью. «Сильно он помочился», – как говаривал Тиктель, который разбирался в богословии, потому что был поваром в семинарии, – как, по крайней мере, утверждал он сам; в тюрьме – как говорили некоторые; глупцы – так он их называл. Морми лежал в своей комнате, натянув одеяло на голову, ожидая раскатов грома, но так и не дождался. Ему было восемь лет, и он не понимал, что происходит. И все же два образа четко запечатлелись в его сознании: лицо Джун – самое красивое лицо, какое он только видел в своей жизни, и стол, накрытый внизу, в столовой. Три подсвечника, горящие свечи, узкие граненые горлышки бутылок, сверкающие как алмазы, салфетки с вышитыми на них таинственными буквами, пар, поднимающийся из белой супницы, золотой ободок тарелок, блестящие фрукты, лежащие на больших листьях в серебряных вазах. Все это, и еще лицо Джун. Эти два образа стояли у него перед глазами и были воплощением абсолютного и безусловного счастья. Если бы можно было унести их с собой на всю жизнь! Почему это жизнь все время над нами насмехается? Она настигает нас еще в нежном возрасте и сеет в нашей детской душе некий образ, или запах, или звук и оставляет его в нашей памяти. И этот-то момент и был счастьем. Ты понимаешь это потом, когда уже слишком поздно. Ты уже далеко: в тысячах километрах от этого образа, звука, запаха. И нет к ним возврата.

А в другой комнате у окна стояла Джун. Прижавшись лицом к стеклу, она смотрела на нескончаемый поток. Она стояла неподвижно, пока не почувствовала, как на ее талию легли руки мистера Райла; он мягко повернул ее к себе, он смотрел на нее удивительно серьезно, и голос его был тихим и нежным:

– Джун, если ты хочешь спросить меня о чем-нибудь, спроси сейчас.

Джун стала развязывать красный платок у него на шее, потом скинула с него пиджак и медленно, одну за другой, принялась расстегивать пуговицы на его темном жилете, начиная с

самой нижней и постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не осталась одна, последняя пуговица, занявшая ненужную оборону: она сопротивлялась мгновение, одно лишь мгновение, прежде чем уступить, в полной тишине, и мистер Райл наклонился к Джун, чтобы сказать, – но это скорее было похоже на просьбу:

– Послушай, Джун... посмотри на меня и спроси то, что ты хочешь...

Но Джун не сказала ни слова. Она просто тихо заплакала, и ничто не изменилось в ее лице; она плакала так, как умеют немногие, – одними лишь глазами, подобно тому как сосуд, до краев наполненный грустью, стоит безучастно до тех пор, пока одна лишь капля не переполнит его и не перетечет через край, а за ней следует тысяча других, а он стоит, бесстрастный, и по краям его стекают слезы обиды. Так плакала Джун. И она плакала не переставая, – даже потом, когда он, обнаженный, лежал под ней, а она целовала его всего, она плакала не переставая, изливая всю свою грусть в этих медленных и молчаливых слезах, – и не было ничего прекраснее этих слез, – плакала, когда сжимала в руках плоть мистера Райла и медленно касалась губами этой невообразимо гладкой кожи, – и не было губ прекраснее, – плакала так, как умела только она, когда, раздвинув ноги, очень быстро и с какой-то яростью она вонзила плоть мистера Райла в свое лоно, а значит, и самого мистера Райла, в каком-то смысле, она вонзила в себя, и, упершись руками в постель, глядела сверху на лицо этого мужчины, который, уехав на другой край земли, чтобы трахать какую-то красотку-негритянку, трахал ее с такой страстной одержимостью, что оставил ей в чреве ребенка; глядя в это лицо, обращенное на нее, она принялась вращать внутри себя побежденного противника – это была плоть мистера Райла, – отчаянно вращать его и укрощать, и он проникал в нее все глубже, – и все не переставала плакать – если это можно назвать просто плачем, – и делала это со все большей яростью, даже бешенством, а мистер Райл пытался прижать ей руки к бокам, безуспешно и напрасно стараясь унять эту женщину, которая, овладев его естеством, глухими ритмичными движениями уже вырвала из его сознания все то, что было серьезнее, чем просто жажда все новых наслаждений. Она все плакала и молчала – плакала и молчала, даже когда увидела, что мужчина, лежащий под ней, вконец обессилел и закрыл глаза, даже когда почувствовала, как он, этот мужчина, который был в ней, судорожно скользнув меж ее бедер, резко вонзил в ее лоно свою плоть таким невероятным, истеричным рывком, что до боли пронзил ее чувством любви.

И только потом – чуть позже, когда мистер Райл смотрел на нее в полутьме и, глядя ее, пытался справиться с изумлением, Джун сказала:

– Я прошу тебя, не говори об этом никому.

– Я не могу, Джун. Морми – мой сын, я хочу, чтобы он рос здесь, с нами. И все должны знать это.

Джун лежала, уткнув лицо в подушку и закрыв глаза.

– Я прошу тебя, не говори никому, что я плакала.

Между этими двумя было что-то, что всегда оставалось тайной или чем-то в этом роде. Невозможно было догадаться, что они говорили друг другу, как жили и какими они были на самом деле. Можно было сломать голову, пытаясь додуматься, что значат некоторые их жесты. И можно было годами задаваться бесконечными *почему*. Единственное, что часто было очевидным, даже почти всегда, а может быть, и всегда, – единственное, что было очевидным, – это то, что в том, что они делали, и в том, чем они были, было нечто – так сказать – прекрасное. Вот так. Все говорили: «Как прекрасно поступил мистер Райл» или «Как прекрасно поступила миссис Джун». Можно было почти ничего не понимать в их отношениях, но, по крайней мере, это было понятно всегда. Например, никогда мистер Райл не присылал из своих поездок никаких вестей, ни единой записки. Никогда. Однако за несколько дней до возвращения он непременно присылал Джун маленькую посылку. Она ее открывала и находила там одну драгоценность.

Ни строчки письма, ни даже подписи: одна лишь драгоценность.

Конечно, любой из вас смог бы найти тысячу объяснений такого рода поступкам, начиная с самого примитивного, то есть что мистер Райл чувствовал себя в чем-то виноватым и поэтому поступал так, как все мужчины, иначе говоря – откупался дорогими подарками. Но поскольку мистер Райл не был похож на других мужчин, а Джун не была похожа на других женщин, – подобное, весьма логичное, объяснение никуда не годилось, и ему на смену выдвигались фантастические теории, в которых чудеснейшим образом переплетались контрабанда алмазами, многозначительные эзотерические символы, античные традиции и поэтичные любовные истории. Еще более смущало то, что Джун никогда, совсем никогда не надевала подаренные драгоценности, и, казалось, они ее не занимали вовсе, хотя часто с озабоченным видом она проверяла свои коробочки, постоянно смахивала с них пыль и следила, чтобы никто не сдвигал их с предназначенного им места. И даже спустя несколько лет после ее смерти эти коробочки стояли, аккуратно поставленные одна на другую, каждая на своем месте, такие нелепые и пустые, а когда принялись искать драгоценности, искали их много дней и недель, пока не поняли наконец, что найти их просто невозможно. В общем, сколько бы вы ни думали об этой истории с драгоценностями, вы никогда не нашли бы ей окончательного объяснения. Но каждый раз, когда мистер Райл возвращался, слуги спрашивали друг друга: «А драгоценность приходила?» – и тогда кто-нибудь отвечал: «Кажется – да, кажется, она пришла пять дней назад, в зелененькой коробочке», и тогда они улыбались и говорили про себя: «Как прекрасно поступил мистер Райл». Потому что ничего другого, кроме этой пустячной и вместе с тем такой важной фразы – что это прекрасно, – они тогда и не могли сказать...

Вот такие были мистер и миссис Райл.

Такие странные, и непонятно было, какая таинственная сила удерживает их вместе.

И все же они были.

Мистер и миссис Райл.

Так они проживали свою жизнь.

А потом вдруг явилась Элизабет.

## 2

– «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй – Кассия, а имя третьей – Керенгаппух...»

Пекиш никогда не мог понять, что за имя было у третьей дочери. Но одно было ясно: сейчас нет времени думать об этом. И он продолжал читать монотонным, безразличным голосом, как будто разговаривал с глухим:

– «...И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода».

Текст заканчивался. Пекиш набрал воздуха и выдохнул:

– «И умер Иов в старости, насыщенный днями».

Пекиш замер. Он и сам точно не знал – почему, но он подумал, что после этих слов надо ненадолго замереть. И так, хотя это было совершенно неудобно, он замер. Он лежал на траве, прижав лицо к отверстию оловянной трубы. Труба тоже лежала на земле («непростительная наивность» – так это прокомментирует впоследствии профессор Даллет), труба длиной 565,8 метра и диаметром с кофейную чашечку. Пекиш прижался к ней лицом так, что над трубой оставались только глаза, – идеальная поза в его положении: так он мог читать книгу, открытую на странице 565, которую он держал одной рукой над трубой. Другой рукой он старательно затыкал дырки, которые оставляла в отверстии его далеко не сферическая голова: «детские уловки» – как заметит позже, и не без основания, уже названный профессор Даллет.

Через несколько минут Пекиш зашевелился. На лице его отпечатались окружность трубы, и одна нога затекла. Он с трудом встал, положил книгу в карман, пригладил седые волосы, пробормотал что-то про себя и пошел вдоль трубы. 565,8 метра – это вам не шуточное расстояние! Пекиш побежал. Он бежал, стараясь ни о чем не думать, поглядывая то на трубу, то под ноги. Трава шуршала под ботинками, впереди простиралась труба, как бесконечная длинная ракета, а когда он поднимал взгляд выше, он видел неподвижный усмехающийся горизонт – все относительно – это он уже знал. Лучше смотреть на землю или на трубу – на трубу и на ноги, – сердце начало бешено стучать. Спокойно. Пекиш остановился. Постоял, оглянулся: позади – сто метров. Посмотрел перед собой: впереди – бесконечная труба. Спокойно. Он снова двинулся, стараясь ни о чем не думать. Вокруг – мягкий вечерний свет. Солнце еще немного греет, и в такое время, когда уже набегают облака, на сердце очень легко, и поэтому вечером обычно мысли приятные, а вот ближе к полудню можно даже убить кого-нибудь или еще хуже: подумать о том, чтобы убить, или еще хуже: обнаружить в себе способность подумать о том, чтобы убить. Вот так. До конца трубы – 200 метров. Пекиш идет и смотрит то на трубу, то прямо перед собой. У другого конца трубы, далеко впереди, он смутно различает фигуру Пента. Если бы он не заметил его, то продолжал бы идти вперед и ни о чем не думать, но теперь, увидев Пента, он снова побежал. Побежал своим чудным способом: на каждом шагу он выкидывал ногу вперед, а она, упрямо не желая повиноваться, каждый раз оказывалась позади, и он снова выкидывал ее вперед, пытаясь одновременно справиться с другой, которая также не желала сгибаться, и так далее. Вы не поверите, но при желании так можно пройти целые километры. Пекиш, впрочем, преодолевал лишь метры, один за другим. И вот впереди у него осталось двадцать метров, потом двенадцать, восемь, семь, три, один, – и вот он – конец трубы. Он остановился, Пекиш. Сердце выпрыгивало из груди. И дыхание прерывалось. Хорошо еще, что вокруг мягкий вечерний свет.

– Пент!

Пент – мальчишка. Хотя на плечах у него мужской пиджак, Пент – всего лишь мальчишка. Он лежит, растянувшись на земле, животом вверх, лицом к небу, впрочем, неба он не видит, потому что глаза его закрыты. Одной рукой он зажал правое ухо, а левое как можно глубже засунул в отверстие трубы, и, если бы это было возможно, он просунул бы туда всю голову, в эту трубу, но даже голова такого маленького мальчонки не пролезла бы в трубу с отверстием не шире чашки. Что ж поделаешь...

– ПЕНТ!

Мальчуган открыл глаза. Он увидел небо и Пекиша. Он не мог сообразить, что же ему теперь делать.

– Вставай, Пент, мы закончили.

Пент поднялся, Пекиш опустился на землю. И посмотрел мальчику в глаза:

– Ну?

Пент потер одно ухо, потом другое, поводит вокруг глазами, стараясь как можно дольше не встречаться взглядом с серыми глазами Пекиша.

– Привет, Пекиш.

– Что значит – привет?

– Привет.

Если бы сердце не стучало так сильно, Пекиш сейчас просто бы закричал. Вместо этого он тихо проговорил:

– Пожалуйста, Пент. Не говори глупости. Скажи, что ты слышал.

На Пенте болтался мужской пиджак. Черный. На нем осталась одна пуговица. Верхняя. Он теребил ее пальцами, расстегивал, застегивал с таким видом, будто собирался это делать вечно.

– Ну скажи хоть что-нибудь, Пент. Скажи мне, черт возьми, что ты слышал из этой трубы. Молчание.

– Про Давида и Голиафа?

– Нет, Пент.

– Историю о Красном море и фараоне?

– Нет.

– Может быть, это были Каин и Авель... да, это когда Каин был братом Авеля и...

– Пент, тебе не надо ничего придумывать. Ты просто должен сказать, что ты слышал. А если ты ничего не слышал, так и скажи: я ничего не слышал.

Молчание.

– Я ничего не слышал.

– Ничего?

– Почти ничего.

– Почти ничего или ничего?

– Ничего.

И тут Пекиш вскочил, как от укуса какого-то мерзкого насекомого, и принялся ходить взад-вперед, размахивая руками, как ветряная мельница крыльями, топча траву непослушными ногами. Он цедил слова сквозь зубы, с трудом сдерживая ярость:

– Это невозможно, черт возьми... невозможно, невозможно, невозможно... они не могли исчезнуть так просто, должны же они были выйти откуда-нибудь... если труба наполняется тысячами звуков, не может быть, чтобы они вот так просто исчезли, прямо у тебя на глазах... куда-то ведь они должны деться?... здесь какая-то ошибка, это точно... где-то мы ошиблись... может быть, нужна труба потоньше... или, может быть, надо бы ее чуть опустить, точно! – надо бы сделать небольшой наклон... наверное, звук останавливается где-то посередине трубы... да, какое-то время он поднимается, потом останавливается... висит немного в воздухе, смешивается с ним, опускается на дно трубы, и олово его поглощает... да, что-то в этом роде...

надо хорошенько подумать, и тогда все отлично получится... конечно... если я буду говорить в немного приподнятую трубу, звук будет подниматься вверх, а потом опустится обратно, и тогда я его снова услышу... Пент, это гениально, ты понимаешь, что это может значить?.. люди могут слышать свой собственный голос... человек берет трубу, направляет ее вверх, скажем с наклоном десять градусов, и поет в нее... он напевает более или менее короткую мелодию, это зависит от длины трубы... поет, а потом слушает, и... голос его поднимается, поднимается, потом останавливается и возвращается обратно, и он *его слышит*, понимаешь, слышит... свой голос... это было бы великолепно... его услышать... это был бы переворот во всех музыкальных школах мира... представляешь себе?.. «Самослушатель Пекиша – инструмент, необходимый для обучения великого певца», говорю тебе, он будет нарасхват... можно будет сделать его разных размеров, можно будет испробовать разные наклоны, различные металлы, кто знает, – может быть, его надо бы изготавливать из золота, нужно проверить, пока это неизвестно, пока надо проверять и перепроверять, никогда ничего не выходит, если ты сто раз не проверишь...

– Может быть, в трубе дырка и звук выходит через нее.

Пекиш остановился. Посмотрел на трубу. Потом на Пента.

– В трубе – дырка?

– Может быть.

И все-таки, хотя теплый вечерний свет – вещь, несомненно, удивительная, есть на свете кое-что еще прекраснее. Это случается, когда из-за непостижимых вихрей воздуха, шуток ветра, капризов неба, стычек увечных туч и еще десятка других случайностей, целого ряда нелепых обстоятельств, – когда в этом неповторимом вечернем свете совершенно неожиданно начинает *идти дождь*. Светит солнце, вечернее солнце, и вдруг – дождь. Совершенно невероятно. И нет человека, даже обессилевшего от боли или ослабевшего от горя, у которого при виде такой нелепости не возникает непреодолимого желания рассмеяться. Конечно, вероятнее всего, он так и не рассмеется, но, если бы мир был чуть милосерднее, он бы наверняка не удержался от смеха. Это как удивительный трюк, прекрасный и неожиданный. В это невозможно поверить. И сама вода, проливающаяся на землю мелкими каплями дождя, падающего, кажется, прямо из солнца, которое спустилось к самому горизонту, не похожа на настоящую воду. Неудивительно, если на вкус она окажется сладкой. В общем, это необычная вода. И эта вода, и сам дождь – явление исключительное, не поддающееся никакой логике. Это как чувство. Такое сильное, что среди прочих чувств, дающих хоть какое-то оправдание смешной обыденности нашей жизни, это – самое пронзительное, самое чистое: вот так стоять неповторимым теплым вечером под неожиданным дождем. Хотя бы один раз в жизни – так стоять.

– Дьявол! Дырка в трубе... как это я не подумал... Пент, милый мой, так вот в чем дело... дырка в трубе... проклятая маленькая дырочка... это ясно... и через нее-то и выходит звук... наружу...

Пент поднял воротник пиджака, глубоко засунул руки в карманы и смотрел на Пекиша улыбаясь:

– Но знаешь, что я тебе скажу? Мы найдем ее, Пент... мы найдем эту дырку, у нас еще целых полчаса до заката, мы ее найдем... вперед, малыш, мы не сдадимся так просто... нет.

И вот они пошли обратно – Пекиш и Пент, Пент и Пекиш, – они шли обратно вдоль трубы, низко склонившись над ней, один – справа, другой – слева, шли медленно, внимательно осматривая каждый сантиметр трубы, отыскивая потерянный звук, и если бы кто-нибудь увидел их издали, он спросил бы себя, какого дьявола делают в огромном поле эти двое, ползущие как насекомые, уставившись в землю, и что они потеряли такого важного, чтобы вот так, забыв обо всем на свете, рыскать среди поля, и кто знает, найдут ли они когда-нибудь то, что ищут, – хотелось бы, чтобы нашли, чтобы хотя бы один раз, хотя бы иногда в этом окаянном мире кто-то, кто ищет, находил бы потерянное. Вот так, просто – и мог бы сказать себе:

я нашел это, и слегка улыбался бы; я это потерял, а теперь нашел – и такой пустяк был бы настоящим счастьем.

– Эй, Пекиш...

– Не отвлекайся, малыш. Если мы никогда не найдем эту дырку...

– Скажи только одно, Пекиш...

– Что?

– Что это была за история?

– Это была история об Иове – об Иове и Боге.

Не отрывая глаз от трубы, не останавливаясь, они шли медленно, шаг за шагом.

– Это прекрасная история, Пекиш, правда?

– Да, прекрасная.

Было три часа ночи, и город погрузился во тьму. В пучину своих снов. В свою тягостную бессонницу. И так далее.

Не спал только Мариус Джоббард, – он сидел за письменным столом / при свете керосиновой лампы / в комнатухе на третьем этаже дома на улице Москат / с бежевыми обоями в зеленую полосочку / книги, дипломы, маленький бронзовый Давид, кленовый глобус диаметром метр двадцать один / портрет господина с усами / другой портрет того же господина / щербатый паркет с протертым ковром / запах пыли, табака и ботинок / в углу – две пары истоптанных черных башмаков.

Джоббард пишет. Ему около тридцати лет, и он выводит на только что заклеенном конверте имя одного прусского академика – Эрнст Хольц. Потом – адрес. Затем промокает пресс-папье. Еще раз проверяет конверт и кладет его на пачку других писем на правый край стола. Ищет среди бумаг какой-то лист, находит его, пробегает глазами шесть имен, написанных столбиком. Зачеркивает имя почтеннейшего проф. Эрнста Хольца. Читает единственное оставшееся имя: госп. Пекиш – Квиннипак. Разворачивает письмо Пекиша, написанное на обратной стороне топографической карты вышеназванного Квиннипака, и читает его. Очень медленно. Потом берет бумагу и ручку. И пишет.

*Уважаемый госп. Пекиш,*

*мы получили Ваше письмо, содержащее результаты – неза заслуженно названные Вами неутешительными – Вашего последнего эксперимента касательно прохождения звука сквозь металлические трубы. К сожалению, проф. Даллет в настоящее время не имеет возможности ответить Вам лично; простите покорно и не сочитите за труд прочесть эти строки, написанные нижеподписавшимся Мариусом Джоббардом, учеником и секретарем почтеннейшего профессора.*

*Справедливости ради хочу Вам сообщить, что, читая Ваше письмо, проф. Даллет не скрывал досады и проявлял нетерпеливость. Он назвал «непростительной наивностью» то, что трубы лежали прямо на траве. Должен напомнить Вам в этой связи, что, если трубы не изолированы от земли, вибрации воздушного потока в конце концов поглощаются окружающими предметами и, таким образом, быстро исчезают. «Класть трубы на землю – это то же самое, что играть на скрипке модератором» – это подлинные слова проф. Даллета. Кроме того, он назвал «детскими уловками» (это его собственные слова) – закрывать руками входное отверстие трубы, и его удивило, почему Вы не использовали, как того требует элементарная логика, трубу с меньшим отверстием, в ширину Вашего рта, – ведь это могло бы придать воздушному потоку всю силу Вашего голоса. Что же касается Вашей гипотезы о «самослушателе»,*

могу сказать Вам, что Ваши идеи о распространении звука определенным образом расходятся с теориями проф. Даллета. Настолько расходятся, что почтеннейший профессор высказал одно утверждение, которое я считаю себя обязанным передать Вам буквально. «Этот человек – сумасшедший». Этот человек – я говорю это, чтобы избежать неясностей, – без сомнения, Вы.

Поскольку проф. Даллет не сказал ничего другого по существу Вашего любезного послания, на этом мне надлежало бы смиренно закончить выполнение моих секретарских обязанностей. И тем не менее, хотя я и чувствую, что силы постепенно оставляют меня, позвольте мне добавить несколько строчек от себя лично. Я полагаю, многоуважаемый госп. Пекини, что Вы не должны прекращать Ваши эксперименты, напротив – Вам надлежит работать еще больше, и когда-нибудь Вы сумеете довести исследования до конца. Потому что мысли, изложенные Вами, просто гениальны, и, если мне будет позволено так выразиться, – они пророческие. Пусть Вас не останавливают ни глупые толки людей, ни, осмелюсь сказать, научные замечания академиков. В надежде на Вашу сдержанность могу добавить, что сам проф. Даллет не всегда был вдохновлен самой чистой и бескорыстной любовью к истине. В течение двадцати шести лет, в абсолютной анонимности, он работал над изобретением аппарата, способного производить вечное движение. Почти полное отсутствие видимых результатов истощило дух профессора и подорвало его репутацию. Можете себе представить, насколько благоприятным, при этих обстоятельствах, явилось изобретение, о котором он рассказал в прессе и которое вызвало необычайный интерес, – изобретение системы связи посредством цинковых труб, которые профессор установил в гостинице своего кузена, Альфреда Даллета, в Бретоне. Вам известно, каковы журналисты. За короткое время, благодаря нескольким статьям, написанным в центральных газетах столицы, Даллет стал для всех пророком «логофора», ученым, способным донести голос любого человека на другой край света. На самом деле, поверьте мне, Даллет не ожидает многого от изобретения логофора, если не считать славы, к которой он так долго и безуспешно стремился и которой достиг столь неожиданно. Несмотря на некоторые его успешные эксперименты, давшие впечатляющие результаты, он полон скрытого, но решительного скептицизма по поводу логофора. Снова надеясь на Вашу скромность, скажу Вам, что я лично слышал, как проф. Даллет признавался одному своему коллеге, правда после нескольких выпитых стаканов божоле, что самое большее, что ему удалось с помощью логофора, – это, стоя у входа в бордель, услышать звуки, доносящиеся из комнаты на втором этаже. Коллега профессора нашел все это весьма остроумным.

Я бы мог рассказать Вам другие, не менее впечатляющие истории, но моя рука, как Вы сами можете видеть, все слабеет. И мозг также. Итак, позвольте мне добавить, что я бесконечно разделяю Ваш энтузиазм и Вашу веру в будущее логофора. Последние сравнительные эксперименты госп. Бьота и Хассенфарца весьма убедительно доказали, что очень тихий голос проходит сквозь цинковые трубы на расстояние 951 метр. Логично предположить, что более сильный голос сможет пройти расстояние в сто раз большее, а значит – это может быть сто километров. Проф. Арнотт, которого я имел счастье встретить прошлым летом, продемонстрировал мне свои собственные расчеты по распространению голоса в пространстве;

*из них однозначно следует, что через трубу голос мог бы спокойно дойти из Лондона в Ливерпуль.*

*В свете всего вышеизложенного высказанные Вами мысли кажутся пророчески точными. Мир наш и вправду в недалеком будущем будет опутан сетью всевозможных труб, способных уничтожить само расстояние. Поскольку, по последним данным, скорость звука равна 340 метров в секунду, можно будет послать любой коммерческий заказ из Брюсселя в Антверпен за десять минут; или передать военный приказ из Парижа в Брюссель за четверть часа; или, если позволите, получить в Марселе любовное письмо из Санкт-Петербурга, отправленное оттуда двумя с половиной часами раньше. Действительно, поверьте мне, больше нельзя медлить, надо использовать волшебные свойства движения звука, чтобы связать между собой города и нации, показать всем народам, что у них есть одна общая родина – весь мир, а единственные их враги – противники науки. И вот поэтому, уважаемый госп. Пекиш, я позволю себе повторить еще раз: не прекращайте свои эксперименты, напротив, любыми способами доведите их до конца и опубликуйте их результаты. Ведь Вы, хотя и вдалеке от великого алтаря науки и ее жрецов, идете по светлому пути новой цивилизации.*

*Не сворачивайте с него.*

*Думаю, что не смогу больше ни в чем быть Вам полезен, что, несомненно, в данный момент весьма омрачает мои мысли.*

*Прощаясь с Вами, выражаю сожаление, что не смог познакомиться с Вами лично, и примите мои наилучшие пожелания.*

*Искренне ваш, Мариус Джоббард.*

*Р. S. К величайшему сожалению, проф. Даллет не в состоянии принять Ваше любезное приглашение на концерт руководимого Вами оркестра, который состоится в Квиннипаке в следующий выходной, 26 июля. Путь не самый близкий, да к тому же и силы у профессора уже не те. Примите его самые искренние извинения.*

*С сердечными пожеланиями.*

*М. Д.*

Не перечитывая, Мариус Джоббард сложил письмо и сунул его в конверт, на котором написал адрес госп. Пекиша. Промокнув чернила пресс-папье, закрыл чернильницу. Затем взял пять конвертов, лежащих на правом краю письменного стола, добавил к ним письмо госп. Пекишу и встал. Медленно вышел из комнаты и с трудом преодолел ступеньки, ведущие вниз, на первый этаж. Дойдя до дверей сторожа, положил письма на пол у двери. Они лежали аккуратной стопкой, с адресами, написанными безупречным каллиграфическим почерком, но, что странно, на каждом конверте виднелись капли крови.

Рядом с письмами Джоббард положил записку:

*Просьба отослать как можно быстрее. М. Д.*

Нетрудно догадаться, что молодой ученик и секретарь проф. Даллета поднялся на третий этаж с гораздо большим трудом и много медленнее, чем спустился. Он снова вошел в кабинет профессора и закрыл за собой дверь. Голова его кружилась, и, прежде чем подойти к столу, он ненадолго остановился.

Сел.

Закрыв глаза и на несколько минут погрузился в свои мысли.

Потом опустил руку в карман пиджака, достал оттуда бритву, открыл ее и перерезал вены на запястьях точным и быстрым движением.

За час до рассвета полиция нашла бездыханное тело проф. Даллета в комнате на чердаке дома по улице Гвенегод. Он лежал на полу, совершенно раздетый, с простреленным черепом. В нескольких метрах от него полицейские обнаружили труп молодого человека лет двадцати, опознанного позже. Это был Филипп Кайски, студент юридического факультета. На его теле были многочисленные колотые раны, а в животе – самая глубокая рана, которая, очевидно, и явилась причиной смерти. В тщательно составленном полицейском отчете было указано, что его тело «нельзя было назвать совершенно обнаженным, так как на нем были некоторые предметы изысканного женского белья». В комнате были видны несомненные признаки ожесточенной борьбы. Смерть проф. Даллета, так же как и господина Кайски, произошла накануне ночью.

Это ужасное преступление, как и следовало ожидать, попало на первые полосы всех столичных газет. Впрочем, ненадолго. Для следователей не представляло особого труда установить личность убийцы, совершившего это двойное зверское преступление, – Мариус Джоббард, секретарь проф. Даллета, снимавший вместе с госп. Кайски чердачное помещение, в котором произошла трагедия. Всего за сутки были собраны неопровержимые доказательства его вины. И только одно непредвиденное обстоятельство помешало правосудию завершить дело надлежащим образом: Джоббард был найден мертвым – он истек кровью – в кабинете проф. Даллета, на третьем этаже дома по улице Москат. На его похороны не пришел ни один человек.

Может показаться странным, но сначала Пекиш получил газеты, в которых рассказывалось об ужасных убийствах, а только потом – письмо от Мариуса Джоббарда.

Понятно, что это привело его в некоторое замешательство, а затем он начал размышлять об относительности времени, его беспорядочности, о том, что оно никогда не подчиняется законам логики, как хотелось бы.

– Что случилось, Пекиш?

Пент стоял на стуле. Пекиш сидел за столом, напротив. Он разложил перед собой по порядку – письмо от Мариуса Джоббарда и столичные газеты – и смотрел на них, пытаясь установить хоть какую-то связь.

– Мерзости, – ответил он.

– Что такое – мерзости?

– Это то, чего нельзя в жизни делать.

– А их много?

– Это зависит от человека. Если у него богатая фантазия, он может сделать много мерзостей. А если он глупый, он может прожить всю жизнь и ему в голову не придет ни одна мерзость.

Что-то здесь было не так. Пекиш и сам это заметил. Он снял очки, и из головы его вылетел и Джоббард, и трубы, и все остальное.

– Скажем, так. Человек встает утром, делает днем все, что нужно, а ночью ложится спать. И здесь возможны два варианта: или он в согласии с самим собой, и тогда он спит спокойно, или – нет, и тогда он никак не может уснуть. Понят?

– Да.

– Значит, надо приходить домой вечером в согласии с самим собой. Вот в чем задача. И чтобы решить ее, есть очень простой путь: оставаться чистым.

– Чистым?

– Чистым внутри, это значит – не делать того, чего ты будешь потом стыдиться. Пока не трудно?

– Нет.

– Трудности начинаются, когда человек замечает, что у него появилось какое-то желание, которого он стыдится: он безумно хочет сделать что-то, чего делать нельзя, – например, причинить зло другому человеку. Понятно?

– Понятно.

– И тогда он задает себе вопрос: должен ли я прислушиваться к этому желанию, или мне выкинуть его из головы?

– Ясно.

– Ясно. Человек думает-думает и наконец принимает решение. Сто раз подряд он может выкидывать из головы это желание, но наступает день, когда он решается сделать то, что хочет, и он это делает. Вот это и есть мерзость.

– Но он не должен бы ее делать, эту мерзость, правда?

– Нет. Но слушай внимательно. Поскольку мы не железные, мы – живые люди, то оставаться чистыми – не основная наша задача. Наши желания – вот самое главное, что у нас есть в жизни, и невозможно постоянно отказываться от них. Получается, что иногда стоит не спать всю ночь из-за сжигающего нас желания. Мы делаем мерзости, но всегда за них платим. И вот это как раз и есть самое главное: когда приходит время платить, надо с достоинством встретить его, не пытаясь избежать расплаты. Только это важно.

Пент немного подумал.

– А сколько их можно сделать?

– Чего?

– Мерзостей.

– Не слишком много, если все-таки хочешь спать по ночам.

– Десять?

– Может быть, меньше. Если это настоящие мерзости – немного меньше.

– Пять?

– Ну, скажем, две... не больше...

– Две?

– Две.

Пент слез со стула. Он прошелся немного по комнате, обдумывая все сказанное. Потом открыл дверь, вышел на веранду и сел на ступеньки у входа. Достал из кармана пиджака сиреневую тетрадку – потертую, скомканную. Очень аккуратно открыл ее. Вытащил из кармана огрызок карандаша и крикнул в открытую дверь:

– Что идет после «два семь девять»?

Пекиш склонился над газетой. Он даже не поднял головы.

– «Два восемь ноль».

– Спасибо.

– Не за что.

Высунув язык, Пент медленно вывел:

*280. Мерзости – пара за всю жизнь.*

Подумал немного. И добавил:

*Потом за них расплачиваются.*

Перечитал. Все в порядке. Закрыв тетрадку и сунул ее в карман.

Вокруг, изнемогая от полуденного зноя, лежал Квиннипак.

История этой тетрадки – как можно догадаться из вышесказанного – началась двести восемьдесят дней назад, то есть в тот день, когда Пент в восьмой раз праздновал свой день рождения. Именно тогда мальчик интуитивно понял, что жизнь – это ужасно сложная штука и люди совершенно не готовы встретиться с ней лицом к лицу. Что его особенно огорчало – и не без основания, – так это огромное количество вещей, которые нужно было выучить,

чтобы выжить в жесточайших условиях (которые действительно были таковыми): он смотрел на мир, видел бесконечное количество вещей, людей, ситуаций и понимал, что для того, чтобы выучить хотя бы только названия всего этого – одни только названия, одно за другим, – может понадобиться целая жизнь. И он подумал, что здесь скрывается какой-то парадокс.

«Как много всего в этом мире», – думал он. И размышлял, как ему быть.

Блестящая мысль осенила его, как это часто бывает, совсем неожиданно. Мысль логичная, вытекающая из самой банальной жизненной ситуации. Держа в руках длиннейший список продуктов, полученный от миссис Абегг перед тем, как отправиться в торговый центр «Фергюссон и сыновья», Пент подскочил от радости – проблема решалась просто: надо завести что-то вроде каталога. Если человек, постепенно узнавая вещи, будет их записывать, то в конце концов у него будет полный перечень всего, что надо знать, и он всегда сможет посмотреть в него, если память ему изменит. Пент думал, что, записав что-то, он будет это знать, – иллюзия, в которую впадает значительная часть человечества. Он представил себе сотню исписанных страниц и почувствовал, что мир его уже так не страшит.

– Неплохая идея, – заметил тогда Пекиш, – конечно, ты не сможешь записать там все, в этой книжечке, но было бы неплохо записывать в ней только самые важные вещи. Ты мог бы каждый день выбирать что-то одно, да-да, завести такое правило – в день по одной записи, если узнаешь что-то важное. Думаю, это должно действовать... скажем, за десять лет ты мог бы достичь до трех тысяч шестисот пятидесяти трех изученных понятий. Это была бы уже неплохая база. Ты мог бы просыпаться по утрам спокойнее. Это будет полезная работа, мой мальчик.

Пенту эти размышления показались убедительными. Больше всего ему понравилась фраза: «Одна запись в день». По случаю восьмилетия Пекиш подарил ему тетрадь в сиреновой обложке. В тот же вечер Пент начал вести педантичные записи, которые пригодятся ему в течение долгих лет. Первая же запись обнаруживает ум, весьма расположенный к методологической суровости науки.

### *1. Все записывать, чтобы не забыть.*

Эта аксиома открыла список познаний Пента, и он расширялся день за днем и был весьма разнопланов. Как любой другой каталог, этот был совершенно нейтрален. Мир был представлен в нем с неизбежной пристрастностью, но абсолютно без всякой иерархии. Примечания – всегда довольно синтетические, почти телеграфного стиля – свидетельствовали об уме, рано постигшем отчетливую и плюралистическую природу тайны жизни: почему луна не всегда одинаковой формы, что такое полиция, как называются месяцы, когда текут слезы, устройство и назначение бинокля, почему бывает диарея, что такое счастье, как быстро завязать шнурки, названия городов, почему нужны гробы, как стать святым, где ад, основные правила ловли форели, цвета, существующие в природе, рецепт кофе с молоком, клички известных собак, куда деваются ветер, ежегодные праздники, с какой стороны находится сердце, когда будет конец света. Вот такие вещи.

– Пент какой-то странный, – говорили люди.

– Это жизнь странная, – говорил Пекиш.

Пекиш, собственно, не был отцом Пента. В том смысле, что у Пента, собственно, и не было отца. И матери тоже. То есть это была непростая история.

Его нашли, когда ему не было и двух дней, – он лежал, завернутый в черный мужской пиджак, у дверей церкви в Квиннипаке. Взяла его к себе и вырастила вдова Абегг, женщина лет пятидесяти, очень уважаемая в городе. Если точно, на самом деле имя ее было не Абегг и она была не совсем вдова. В общем, ее история была еще сложнее.

Лет двадцать назад на свадьбе сестры она познакомилась с одним младшим лейтенантом, очень красивым и скромным. В течение трех лет они обменивались частыми и с каждым разом все более душевными письмами. В последнем письме лейтенанта содержалось

осторожное, но решительное предложение руки и сердца. По той же иронии судьбы, которая так поразила Пекиша при чтении письма от Мариуса Джоббарда, это предложение пришло в Квиннипак через двенадцать дней после того, как пушечное ядро весом в двадцать килограммов беспощадно лишило младшего лейтенанта возможности жениться и, в общем-то, всяких других возможностей. Добрая женщина отправила на фронт три письма, в которых все с большей настойчивостью сообщала, что согласна на свадьбу. Все три письма вернулись обратно, с официальным подтверждением смерти младшего лейтенанта Абега. Другая женщина, может быть, и сдалась бы. Но только не эта. Лишившись счастливого будущего, она сочинила себе счастливое прошлое. Она сообщила всем жителям Квиннипака, что ее муж героически погиб на поле сражения и ей хотелось бы, чтобы отныне ее называли вдовой Абега. В ее рассказах все чаще стали появляться смешные истории из ее предыдущей, гипотетической замужней жизни. Часто в ее речи торжественным рефреном звучало: «Как говорил мой дорогой Карл...» – и дальше следовали не очень тонкие, но разумные изречения. На самом деле младший лейтенант никогда ей этого не говорил. Он ей писал. Но для вдовы Абега это было одно и то же. Практически три года подряд она была в эпистолярном браке. Что ж, бывают еще более странные браки... Как следует из вышесказанного, миссис Абега была женщиной с незаурядной фантазией и твердыми убеждениями. А значит, никого не удивит история с пиджаком Пента, которой, как и многого другого, также коснулся перст судьбы. Когда Пенту исполнилось семь лет, вдова Абега вынула из шкафа черный пиджак, в котором его нашли, и надела на него. Пиджак доходил ему до колен. Верхняя пуговица была на уровне пупка. Рукава болтались как на вешалке.

– Слушай меня хорошенько, Пент. Это пиджак твоего отца. Если он его тебе оставил, это, должно быть, добрый знак. Так вот, постарайся понять. Ты вырастешь. И если однажды ты обнаружишь, что он тебе впору, ты покинешь этот никчемный городок и отправишься искать счастья в столицу. Если же ты не вырастешь достаточно большим, ты останешься здесь и все равно будешь счастлив, потому что, как говорил мой дорогой Карл, «счастлив цветок, расцветший там, где посадил его Господь». Вопросы есть?

– Нет.

– Вот и хорошо.

Пекиш не всегда одобрял тот солдафонский тон, который миссис Абега применяла в особо важные моменты жизни, – очевидное следствие длительного общения с мужем, младшим лейтенантом. Впрочем, по поводу истории с пиджаком ему нечего было возразить. Он признавал, что мысли эти здравые и в туманной неизвестности будущей жизни пиджак мог представлять собой некую точку отсчета, важную и значительную.

– Не такой уж он и большой. Когда-нибудь он будет тебе впору, – сказал он Пенту.

Чтобы облегчить эту задачу, вдова Абега разработала разумную диету, в которой искусно сочетались ее скудные денежные средства (военная пенсия, которую на самом деле никто ей никогда не присылал) и элементарные калории и витамины, необходимые мальчику. Пекиш, со своей стороны, давал Пенту некоторые полезные установки, среди которых не последнее место занимало золотое правило, согласно которому, чтобы вырасти, нужно как можно чаще стоять.

– Это почти как со звуком в трубе. Если труба немного изогнута, звук проходит по ней с трудом. У тебя – то же самое. Если часто стоишь, ты легко наполняешься силами и не надо тратить время на преодоление препятствий. Стой чаще, Пент, старайся держать тело как можно ровнее.

И Пент старался изо всех сил. Конечно же, он пользовался стульями – но только чтобы стоять на них.

– Садись, Пент, – говорили ему.

– Спасибо, – отвечал он и залезал ногами на стул.

– Да, нельзя сказать, что он прекрасно воспитан, – говорила вдова Абега.

– Когда сидишь на горшке, это тоже не очень эстетично. Хотя необходимость в этом тоже есть, – отвечал Пекиш.

Вот так и рос Пент. Поглощая яйца на обед и ужин, забираясь ногами на стулья и каждый день записывая по одной истине в сиреневую тетрадку. Он болтался в своем огромном пиджаке, как письмо болтается в конверте, идущем строго по своему назначению. Он болтался, облаченный в свою судьбу. Впрочем, как и все остальные; только в его случае это можно было видеть невооруженным глазом. Он никогда в жизни не видел столицу и даже представить себе не мог, почему надо стремиться туда попасть. Но одно он понял: условия игры требовали, чтобы он вырос. И он делал все от него зависящее, чтобы выиграть эту игру.

И все же по ночам, лежа под одеялом, когда никто не мог его видеть, с сильно бьющимся сердцем, он тихонько сворачивался калачиком и именно так, подобно скрученной трубе, в которую не попадет ни один звук, даже если стрелять в нее из пушки, – именно так он засыпал и во сне почти всегда видел бесконечно большой пиджак.

## Часть вторая

### 1

Джун лежала, положив голову на грудь мистеру Райлу. Заниматься любовью той ночью, когда он возвращался, – это было немного лучше, немного проще, немного сложнее, чем любой другой ночью. Это было – как будто вспоминаешь что-то. Это было – как будто боишься обнаружить что-то неведомое. Это было – как будто тебе хочется чего-то необыкновенно прекрасного. Это было что-то вроде желания – немного сумасшедшего, немного дикого, которое не имело ничего общего с любовью. Здесь много всего соединилось.

А потом – потом они как бы начинали все с чистого листа бумаги. Из какого бы далекого путешествия ни возвращался мистер Райл, все тонуло в океане этих тридцати минут любви. И все начиналось с того момента, на котором они перед этим расставались. Секс может перечеркнуть целые куски жизни, представьте себе.

Как бы глупо это ни казалось, но людей порой охватывает странный, даже панический страх, и жизнь после этого сминается, как билетик, зажатый в порыве страха в кулаке. Отчасти случайно, отчасти по воле судьбы, в складках этой свернувшейся в клубок жизни исчезают печальные, подлые или так никогда и не понятые отрезки времени. Вот так.

Джун лежала, положив голову на грудь мистера Райла, а ее рука скользила по его ногам, то и дело касаясь его паха, потом – по всему его телу и опять возвращалась к ногам, – нет ничего прекраснее, чем ноги мужчины, думала Джун, если они такие красивые.

Она услышала тихий голос мистера Райла, и было заметно, что он говорил с улыбкой.

– Джун, ты ни за что не догадаешься, что я купил на этот раз.

Конечно же, ей ни за что не догадаться. Она свернулась на нем клубочком, нежно касаясь губами его кожи, – нет ничего прекраснее губ Джун – так думали все, – когда она вот так слегка касалась ими чего-нибудь.

– Ты можешь всю ночь напролет отгадывать и так и не догадаешься.

– Мне это понравится?

– Конечно.

– Понравится так же, как заниматься с тобой любовью?

– Гораздо больше.

– Какой же ты глупый!

Джун подняла на него взгляд, придвинулась к его лицу. В полутьме было видно, что он улыбается.

– Ну, так что же ты купил на этот раз, сумасшедший мистер Райл?

В десяти километрах от них на колокольне в Квиннипаке пробило полночь; дул северный ветер, и он доносил этот колокольный звон из города прямо в ту комнату, где они лежали. Когда раздается этот звон, кажется, будто удары колокола разрезают ночь на части, а время – это острый клинок, рассекающий на части вечность, – о хирургия часов, – и каждую минуту оно наносит рану, чтобы самому спастись, а эти удары колокола цепляются за время, так оно и есть, потому что время отсчитывает усилия жизни, состоящей в том, чтобы считать минуту за минутой, именно это и значит – спастись, так оно и есть, правда, и трансцендентная узаконенность любого часового механизма, и мучительная сладость всякого колокольного звона осязаемо связаны со временем для того только, чтобы установить некий порядок в постоянном электризирующем крахе до и после каждого удара, – связаны диким страхом, истеричным педантизмом и нечеловеческой силой. И, как у всякого панического ужаса, у нее есть свой ритуал, и ритуал этот состоит в постоянном преобразовании миллионов истеричных взрывов страха в

один божественный танец на сцене, в котором человек способен двигаться как бог, – это некий ритуал, повторяю, и именно таков был ритуал башенных часов Гранд Джанкшн. В те времена в разных городах часы показывали разное время – тысяча разных часов – в каждом городе – свое собственное время, вот, например, если у нас сейчас 14:25, то в другом месте – уже 15:00. В каждом городе были свои башенные часы, а Гранд Джанкшн – это железнодорожная линия – одна из первых, которая, подобно трещине на вазе, пролегла по земле и по морю, от Лондона до Дублина. Она бежала, неся в себе свое время, скользящее между другими, как капля масла скользит по мокрому стеклу, – и у этой линии было свое собственное время, не такое, как в других местах, и на протяжении всего ее пути оно должно было оставаться неизменным, как какой-то драгоценный камень, чтобы каждая минута могла по нему свериться – она отстает или спешит, чтобы каждая минута могла осознать себя, и, значит, не сбиться, и, значит – спастись, – этот поезд бежит и несет в себе свое собственное время, безразличное ко всякому другому времени, – и для этого поезда человек создал ритуал, священный и очень простой:

*«Каждое утро посыльный из Адмиралтейства вручал дежурному служащему почтового поезда, следующего по маршруту Лондон – Дублин, часы, указывающие точное время. В Холихэде часы передавались служащим кингстонского парома, который доставлял их в Дублин. На обратном пути служащие кингстонского парома вновь передавали их дежурному почтового поезда. Как только поезд снова прибывал в Лондон, часы вручались посыльному Адмиралтейства. И так каждый день, сотни дней подряд».*

В незапамятные времена на вокзале в Буффало было трое часов, каждый указывал свое собственное время, а на вокзале в Питтсбурге таких часов было шесть – по одному на каждый путь, – это было какое-то вавилонское столпотворение часов – теперь вам стали понятны и ритуал почтового поезда Лондон – Дублин, и эти часы, путешествующие туда и обратно в бархатной коробочке, переходящие из рук в руки, ценные, как некий секрет, некая драгоценность...

(И был один мужчина, который уезжал из дома, долго странствовал, а когда он возвращался, незадолго до его приезда по почте приходила одна драгоценность в бархатной коробочке. Ожидающая его женщина открывала коробочку, обнаруживала в ней драгоценность и понимала, что скоро он вернется. Все думали, что это подарок, дорогой подарок по случаю его отлучки. Но секрет был в том, что драгоценность была всегда одна и та же. Коробочки менялись, а она оставалась неизменной. Она отправлялась в путь с мужчиной, оставалась с ним всегда, где бы он ни был, перемещалась из чемодана в чемодан, из города в город, а потом возвращалась назад. Отправляясь в путешествие из рук женщины, она возвращалась в те же руки, точно так же как часы возвращались в руки адмирала. Все думали, что это подарок, дорогой подарок по случаю его отлучки. А на самом деле она была тем, что оберегало нить их любви в лабиринте мира, и путь мужчины в нем напоминал путь трещины по вазе. Это были часы, считавшие минуты уникального времени – времени их любви. Они возвращались раньше его, чтобы она знала, что в сердце того, кто ехал следом, не разорвалась нить этого времени. И когда мужчина наконец возвращался, не было нужды что-либо говорить, о чем-либо спрашивать, что-то узнавать. Тот миг, когда они встречались, был для них обоих все тем же мигом расставания.)

...ценные, как некий секрет, некая драгоценность, – часы, объединяющие воедино всю железную дорогу, соединяющие Лондон и Дублин, чтобы они не исчезли в вавилонском столпотворении разного времени и часов, – это заставляет думать – это заставляет задуматься – это заставляет думать. О поездах. О том шоке, который произвело открытие железной дороги.

Раньше никому и в голову не могла прийти мысль о такой уловке с часами. Никогда и никому. Потому что в те времена не было поездов. О них даже и не мечтали. И поездки из

одного города в другой были такими долгими, беспорядочными и случайными, что, конечно же, терялось всякое представление о времени, и никого это не смущало. Существовали лишь две неизблемые величины: восход и закат, а все остальное было беспорядочными мгновениями, спутавшимися в одном большом клубке времени. Рано или поздно люди добирались до цели назначения. Но поезд... здесь время обратилось в железо – железо, несущееся по двум рельсам, – вечное, непрерывное полотно, длинная вереница рельсов... но важнее всего была скорость. Скорость не прощала неточности. Если между часами двух городков была разница в семь минут, она их обнаруживала и эти минуты становились значительными. Десятилетиями люди путешествовали в каретах и никогда не замечали разницы во времени, и только несущийся поезд смог раз и навсегда разоблачить эту тайну. Скорость. Должно быть, она разорвала этот мир изнутри, как крик, сдерживаемый тысячи лет. Ничто, кажется, не вызывало у людей таких сильных эмоций до тех пор, пока не родилась скорость. Кто знает, сколько прилагательных вдруг потеряло всякий смысл. Кто знает, сколько превосходных степеней пошло прахом, за один лишь миг, за одну минуту став смешными и бессмысленными... Сам по себе поезд не представляет собой ничего особенного, это всего лишь машина... но вот что поистине гениально: эта машина не порождает силу, она порождает нечто, пока неясное концептуально, нечто, чего раньше не существовало: скорость. Эта машина не из тех, что заменяют собой труд тысячи людей. Это машина, производящая то, чего никогда прежде не существовало. Машина из области нереального. Один из первых и самых известных локомотивов, построенных Джорджем Стефенсоном, назывался «Ракета» и ходил со скоростью 85 километров в час. Именно он 14 октября 1829 года выиграл соревнование в Рейнхилле. В состязании участвовали еще три локомотива, и у каждого было красивое название (тому, что вызывает опасения, всегда дают особые имена, – то, что люди из осторожности имеют два имени, – тому доказательство): «Новость», «Несравненный», «Упрямый». По правде говоря, в списках был еще один, четвертый участник, под названием «Циклопед». Его изобрел некто Брандрет, и он представлял собой лошадь, бегущую по конвейеру, укрепленному на четырех колесах, которые, в свою очередь, двигались по рельсам. Как видите, и в этом случае, как всегда, прошлое сопротивляется будущему, идет с ним на невообразимые компромиссы без малейшего чувства юмора и безнадёжно исчезает – хотя и продолжая существовать в настоящем, – когда истекает его тупое и упрямое время. И когда из пророчески кипящих котлов порывисто вырывался белый пар, окутывая их блестящие трубы, пар этот затмевал бедную лошадку на подставке, перепутавшую средство, то есть рельсы, с целью. Так или иначе, этого участника дисквалифицировали. Его дисквалифицировали еще до того, как он стартовал. Итак, они состязались вчетвером – «Ракета» и еще трое. Первое испытание – пробег на расстояние в полторы мили. «Новость» пробежала это расстояние со скоростью 45 километров в час, вызвав в зрителях невероятное восхищение. Жаль, что в конце она взорвалась, да-да, именно взорвалась, – должно быть, это было потрясающее зрелище – взрывающийся локомотив: котел, лопнувший, как раскаленный пузырь, маленькая узкая длинная труба, неожиданно легко летящая по воздуху, как дым. И еще люди, потому что должен же был кто-то везти эту бомбу с горящим запалом по двум железным рельсам, и люди тоже летели как манекены – окровавленные вихри ветра, – ежедневная порция крови, необходимая для смазки колес прогресса, должно быть, это было потрясающе – вид бегущего локомотива, который вдруг взрывается. Второе испытание предусматривало пробег 112 километров, которые надлежало пройти со скоростью 16 километров в час. «Ракета» оставила позади себя всех, уверенно развил скорость 25 километров, – это надо было видеть. После подведения итогов объявили о ее победе. Победил этот умище Стефенсон. И все это, заметьте, произошло не тайно, в узком кругу богатеев, заинтересованных в том, чтобы найти быстрый и выгодный способ пустить по свету свои вагоны, груженные углем. Нет. Все это произошло на глазах десяти тысяч человек и оставило неизгладимый след в их сознании. Двадцать тысяч глаз – плюс-минус пара близоруких – следили в тот день за состязанием века в Рейнхилле –

малая, но значительная часть человечества, движимая предчувствием, что вот-вот произойдет нечто, что вскоре смутит человеческий разум. Они видели, как «Ракета» устремилась по прямой из Рейнхилла со скоростью 85 километров в час. Но не это было самым удивительным. Ведь поезду, несущемуся с такой скоростью, рано или поздно должно же попасться что-то на пути – или одинокий сокол, преследующий добычу, или падающий ствол дерева, подмытый водами быстрой реки, или, кто знает, может быть, даже взорвавшаяся в небе бомба. И мысль эта очень всех смущала, ведь с помощью элементарной дедукции нетрудно было догадаться, что если этот локомотив не взорвался, то рано или поздно такие составы с бешеной скоростью полетят по железному полотну и сами станут и соколами, преследующими добычу, и падающими деревьями, и взрывающимися бомбами. И невозможно, просто невозможно представить, что все эти люди не подумали, да-да, абсолютно все, – что все они не подумали с лихорадочно-пугливым любопытством: а каким же тогда будет мир? И сразу после этого: это будет новый образ жизни или же более верный и эффектный вид смерти?

Ответы на эти вопросы посыпались позже, по мере того как по всем направлениям раскинулись железные колеи и по ним двинулись поезда, выравнивая холмы и насквозь прорезая горы, дерзкие в своем свирепом желании достичь пункта назначения. В ушах звенели ритмичные всхлипывания рельсов, они вибрировали как бы от усталости или от волнения, – это был какой-то постоянный тик, от которого сжималось сердце. А за окном поезда, за стеклом, пролетали мимо осколки мира, раздробленного на части, это был бесконечный поток, разбитый на тысячи образов длиною в мгновение, – мир, разрываемый изнутри какой-то невидимой силой. «До того как изобрели железную дорогу, природа безмятежно спала: то была лесная Спящая красавица» – так поэтично об этом писали. Но писали много времени спустя, с рассудительностью, продиктованной временем. А вначале, когда эта махина, несущаяся на преступной скорости, вгрызалась в Спящую красавицу, – это было настоящее насилие, оставившее неизгладимый след в сознании и в воспоминаниях людей. И страх. «Это настоящий вихрь, и невозможно избавиться от мысли, что самая незначительная авария может привести к мгновенной гибели всех» – так думали многие. И конечно же, подсознательно люди не могли не уловить связь между этим предчувствием смерти и тем искаженным миром, который с риском для жизни можно было увидеть из окна поезда. И подобно тому как перед мысленным взором умирающего за несколько секунд проносится вся его жизнь, так и перед их глазами проносились поля, дома, люди, реки, животные...

Можно представить себе это: страх – с одной стороны, а с другой – бесконечная вереница образов, или лучше сказать так: одно в другом: страх – в веренице образов. Подобно тому как при удущье по всему телу концентрически расходятся волны, мучительные, конечно, но и... таящие в себе искру какого-то острого удовольствия... когда вдруг происходит нарушение восприятия внешнего мира, и тогда появляется восприятие внутреннее, – сначала оно является медленно, но постепенно темп ускоряется и ускоряется, и, когда он становится невыносимо быстрым, перед глазами рождается головокружительная череда образов, в памяти мелькают осколки прошлого, воспоминания о незаживающих ранах, бесконечно пролетают какие-то предметы – все это громоздится в беспорядке и мелькает перед глазами – это *должно было*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.